



РАЗУМНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ЯЗЫК
LANGUAGE AND REASONING

М. А. КОТИН

ЯЗЫК И ВРЕМЯ

Очерк теории
языковых изменений

СЕГО ДНЯ НЕСТЬ ДЕСКАТЬ
ЗАУТРА БЫТЬ МОЛВИТЬ
БЫТЬ ХОТЕТЬ
ВЕДАТЬ
БУДЬ ТО
БУДТО
ДЕ БЫ
МОЛ НЕТ
ВЕДЬ ЗАВТРА ХОТЯ СЕГОДНЯ

Разумное поведение и язык. Language and Reasoning

Михаил Котин

Язык и время

«Языки Славянской Культуры»

2018

УДК 80/81
ББК 81

Котин М. Л.

Язык и время / М. Л. Котин — «Языки Славянской Культуры»,
2018 — (Разумное поведение и язык. Language and Reasoning)

ISBN 978-5-907117-01-3

Целью монографии является введение в проблематику развития естественных языков и языковых изменений, обсуждение достоинств и недостатков главных теорий и концепций, касающихся их причин и механизмов, а также представление тезисов автора, позволяющих в общих чертах изложить его собственный взгляд на данные вопросы. Выводы автора являются плодом его многолетних исследований в области исторической лингвистики, теории языковых изменений, а также языковой типологии и контрастивной лингвистики. Книга адресована широкому кругу читателей, заинтересованных данными вопросами, — в первую очередь филологам и лингвистам.

УДК 80/81

ББК 81

ISBN 978-5-907117-01-3

© Котин М. Л., 2018

© Языки Славянской Культуры, 2018

Содержание

Введение	6
Что такое язык?	9
Конец ознакомительного фрагмента.	18

М. Л. Котин

Язык и время

Жене Татьяне и сыну Андрею – с любовью и благодарностью

Введение

Естественные языки, которых на Земле в настоящее время насчитывается более 7500¹, возникают, развиваются и заканчивают своё существование согласно определённым законам. Законы эти в значительной своей части универсальны, то есть действуют независимо от того, о каком конкретном языке идёт речь. Есть, конечно, и специфические механизмы развития конкретных языков, но нас в этой книге они будут интересовать в меньшей степени. Наиболее интересным представляется изучение общей судьбы человеческого языка, от его зарождения до нынешнего состояния, а в отношении так называемых мёртвых языков – до их «смерти». Лингвистика – весьма ещё молодая область человеческих знаний, возникшая как самостоятельная наука на рубеже XVIII–XIX веков. Однако в силу того, что её развитие совпало с гигантскими достижениями последних двух столетий в области других наук, в разной степени ускорившими процессы познания в глобальных масштабах, она проделала под этим общим влиянием весьма внушительный как с точки зрения формирования теоретико-методологической базы, так и в плане эмпирических исследований путь. В этом есть как положительные, так и отрицательные стороны. С одной стороны, языковедение испытало благотворное влияние как естественных, так и гуманитарных наук при формировании своего научного профиля. С другой стороны, оно нередко под влиянием теории и методологии этих наук как бы «забывало» о том, что использовать эти методы можно лишь при условии понимания специфики собственного предмета изучения, а следовательно, они всегда нуждаются в адаптации к объекту исследования – естественному человеческому языку, а подчас оказываются для данных целей и вовсе не пригодными.

Язык – единственный объект научного знания, который одновременно является инструментом собственного описания. Мы говорим и пишем о языке, используя язык. То, что при этом мы можем пользоваться, скажем, русским языком для описания языка немецкого или любого другого, мало что меняет, поскольку область пересечения здесь гораздо более тесная, чем, например, при описании химического вещества или физических законов при помощи буквенно-цифровых знаковых систем. Понятие *метаязыка* в языкознании отличается поэтому от знаковых метасистем, используемых в других науках, и создание адекватной лингвистической терминологии всегда будет сталкиваться с серьёзными проблемами. О многих феноменах языка лингвисты по сей день говорят лишь «приблизительно», метафорически, хотя они не оставляют попыток как-то упорядочить используемый ими терминологический аппарат. В результате представители разных лингвистических школ и направлений зачастую не понимают друг друга, говоря на первый взгляд о «том же самом». Помимо этого, наше сознание, вырабатывая тот или иной понятийный аппарат для целей научного исследования, не может пользоваться им в отрыве от той материальной оболочки, которую имеет слово как языковой знак. Мы можем сколько угодно говорить об отличии слов от понятий или, согласно современной терминологии, концептов или фреймов, о наличии некоего «энциклопедического знания», отличного от знания «идеографического» (словарного), однако нет никаких универсальных способов регистрации и фиксации энциклопедического, концептуального или понятийного знания, отличного от знания, связанного с языковым знаком.

Язык – исторический феномен, что означает прежде всего его существование во времени. Время же всегда предполагает изменение, развитие, исчезновение одних форм и появление других или изменение значения или функции той или иной формы при её сохранении

¹ Приводимые в разных источниках данные существенно разнятся, поскольку зависят от применяемых критериев и алгоритмов подсчёта, в частности, от того, что считается языком, а что – диалектом, региональным вариантом языка, говором, койне и т. п. Число 7500 (которое является очень приблизительным) – скорее максимальное, чем минимальное или среднее.

как материального носителя старого и нового значения, старой и новой функции. Всё, что подвластно времени, по необходимости должно изменяться, и это правило настолько непреложно, что само время мы воспринимаем не иначе как через призму изменения наблюдаемых нами объектов. Бытийными рамками этого изменения являются возникновение и исчезновение чего-либо или кого-либо. Так и всякий язык когда-то возникает, живёт, пока живут его носители, и исчезает вместе с их исчезновением – бесследно, если он существовал лишь в устной форме, или сохранившись лишь в виде текстов, если он имел также письменную историю и если эти тексты не пропали. Понятно, что в последнем случае язык сохраняется не целиком, а лишь может быть восстановлен фрагментарно. Но если на земле живёт хотя бы один-единственный взрослый носитель какого-то языка, можно считать, что вне зависимости от объёма его словарного запаса данный язык является живым и представлен во всей своей полноте.

Логика времени, которая, в общем, не требует от нас ответа на вопрос, почему изменяются естественные языки, ортогональна, однако, логике существования знаковых систем, а ведь язык помимо своей исторической сущности является ещё и системой знаков. Знаковые же системы вовсе не предполагают неотвратимости изменений, им вполне может быть присуща стабильность и неизменность. Изменения здесь скорее требуют объяснений, чем принимаются по умолчанию. Собственно, любая оптимальная система знаков может существовать в неизменном виде сколь угодно долго. При этом, если изменения в ней всё же происходят, они всегда могут быть объяснены конкретными целями или обстоятельствами. Скажем, усложнение сигналов светофора путём добавления жёлтого света к зелёному и красному, было обусловлено увеличением скорости движения автотранспорта, в результате чего возникла необходимость заранее подготовиться к торможению, а также увеличением числа механизированных участников движения, приведшим к затруднениям при ориентации водителей на дороге. Подобным образом увеличение числа дорожных знаков вызвано нарастающим усложнением участников и условий движения. При сохранении стабильности в данной сфере система дорожных знаков может теоретически не меняться столетиями. Азбука Морзе также не требует изменений, не вызванных внешними и не зависящими от самой системы явлениями. То же можно сказать о системах знаков, применяемых в математике, физике, химии и ряде других наук.

Система языковых знаков подчинена совершенно иным механизмам. На первый взгляд можно объяснить происходящие в ней изменения внешними причинами: появлением новых предметов и понятий, требующих новых обозначений; воздействием других языков (языковыми контактами) и т. п. Однако достаточно задаться вопросом, сохранился ли бы язык в неизменном виде, если бы все внешние факторы, обуславливающие его развитие, отпали, чтобы понять, что естественные языки кардинально разнятся от прочих знаковых систем. Представим себе отдалённый океаном от прочих обитаемых территорий остров, на котором проживает некое племя *инси*, говорящее на *инсийском* языке. Племя это живёт много столетий подряд без видимых изменений в своём жизненном укладе, технического прогресса, а также не контактирует ни с каким другим народом в силу его отсутствия. Природные условия благоприятствуют стабильному существованию данного племени, которое со временем численно растёт и распространяется по всему острову. Можно ли вообразить, что, скажем, в течение трёх или четырёх сотен лет язык данного племени останется неизменным? Очевидно, что нельзя. Что же станет в этом случае причиной развития языка, если отпадают все те причины языковых изменений, которые обычно называются в лингвистике? Несомненно, это будет просто наличие фактора времени. Со временем меняются языковые формы, как со временем меняется, скажем, организм живых существ.

Понятно, что сравнение языка как системы знаков с живыми организмами сегодня весьма рискованно. Классики сравнительно-исторического метода в языкознании Якоб Гримм и Август Шлейхер, а вслед за ними их последователи, принадлежавшие к так называемой младограмматической школе (Германн Пауль, Карл Бругманн, Вильгельм Брауне и многие

другие), не представляли себе иной модели языка, кроме органической, и для них подобное сравнение было поэтому естественным. Однако современная лингвистика далеко ушла от их представлений и в качестве модели существования и развития языков использует метафоры, заимствованные не из биологии, но скорее из тех областей знания, которые не связаны с естественными эволюционными процессами, – логики, социологии, семиотики и т. п. (об исключениях из этой магистральной линии развития лингвистики речь пойдёт ниже). При таком подходе вполне понятно, что время как жёсткая составляющая конструкции, именуемой языковой системой, отходит как минимум на задний план, если вовсе не выводится за рамки метода – что, в частности, предложил сделать Фердинанд де Соссюр, прочертив резкую методологическую границу между синхроническим (то есть статическим, а потому вневременным) и диахроническим (зависящим от фактора времени) подходом. Его более радикальные последователи (например, Шарль Балли) превратили данную методологическую черту по сути в онтологическую, объявив уже сам язык в его определённом статическом состоянии предметом абсолютно самостоятельного научного интереса. После такого переворота язык, казалось бы, уже не может изучаться в парадигме, предусматривающей его сравнение с живым организмом. Вместе с тем вопрос о доминантности времени при описании языка никуда не исчез. Учитывая при этом именно детерминистическую постановку данного вопроса, необходимо по меньшей мере частично вернуться к проблеме внутренних, системно обусловленных причин и механизмов языковых изменений, что, в свою очередь, неизбежно предполагает выведение языка за рамки прочих семиотических систем.

В этой книге чрезвычайно сложные вопросы исторической природы языка, его генеалогии, первичных и вторичных факторов развития, соотношения «внутренних» и «внешних» причин, обуславливающих и ускоряющих или, наоборот, ослабляющих и задерживающих это развитие, будут изложены с максимальной доступностью. Не перегружая текст сложной и подчас неоднозначной и не повсюду принятой терминологией, а, с другой стороны, не стремясь к доступности в ущерб научной обоснованности, что свойственно научно-популярным работам, автор пытается представить актуальные проблемы теории языковых изменений на разных уровнях языковой системы. Такой подход должен максимально расширить круг заинтересованных данными проблемами читателей, ядром которого тем не менее должны являться филологи и лингвисты. Вместе с тем книга не является классическим научным трудом, содержащим большой объём эмпирического материала, исследуемого на основе систематизированного и аннотированного корпуса текстов. Это скорее пособие, целью которого является введение в проблематику языковых изменений, обсуждение достоинств и недостатков главных теорий и концепций, касающихся их причин и механизмов, а также представление тезисов автора, позволяющих в общих чертах изложить его собственный взгляд на данные вопросы. Тезисы автора, в свою очередь, являются плодом его многолетних исследований в области исторической лингвистики, теории языковых изменений, а также языковой типологии и контрастивной лингвистики. Данные исследования в отличие от предлагаемой монографии проводились на обширном языковом материале, который, учитывая специфику настоящей книги, может быть здесь представлен лишь фрагментарно, в качестве иллюстрации. То же самое может быть сказано и о ссылках на научные источники, число которых ограничено до необходимого минимума.

Что такое язык?

Ответ на этот вопрос крайне сложен, что связано с тем, о чём отчасти речь уже шла во Введении. Используя в качестве метаязыка при описании естественных человеческих языков всё тот же естественный язык, мы попадаем в некоторый замкнутый круг. Что такое то, на чём я сейчас говорю? Ожидаемый ответ здесь – русский язык. Я сейчас говорю (или в данном случае пишу) по-русски. Каким образом это возможно? Где этот язык можно найти и как он выглядит? Есть словари русского языка, в которых более или менее подробно представлен его лексический состав. Есть учебники грамматики, описывающие правила, по которым слова из словаря могут соединяться в фразы. Можно описать звуковой состав языка, его гласные и согласные звуки, слоги, интонацию, ударение и прочие элементы и правила их соединения друг с другом. При этом совершенно очевидно, что ни одно из описаний не является полным и исчерпывающим, что оно не адекватно описываемому феномену. Язык, который я использую, живёт в моём сознании, является одной из составляющих тех знаний, которыми я обладаю. При построении фраз я извлекаю из определённых участков мозга содержащиеся там в идеальном виде языковые формы, материализую их посредством речевого аппарата (гортани, нёба, языка, зубов, губ, голосовых связок) и соединяю их в осмысленные предложения путём применения правил, которые можно назвать, вслед за Ноамом Хомским, «competence». При этом происходит превращение competence в performance, или идеального «внутреннего языка», I(nternalized) language, в реальный, материальный «внешний язык», E(xternalized) language (ср. Chomsky 1986). Потенциальный язык, живущий в недрах головного мозга, организован в виде некоего интерфейса, позволяющего генерировать фразы из словесного материала, причём последний накапливается в результате обучения, тогда как «глубинный» синтаксис, согласно Хомскому, дан человеку *a priori*, от рождения, как абстрактная возможность соединять именные и глагольные фразы. В реальной жизни мы слышим и видим только результаты внутренней речевой деятельности, однако на их основе можем делать выводы о лежащих в её основе логических схемах, подобно тому, как Мендель открыл гены, исследуя белые и жёлтые цветы, или как химик, видя воду, говорит о её химической формуле H₂O (ср. von Stechow 1993: 7).

Итак, местом обитания языка является головной мозг человека (ср. von Stechow 1993: 7), где язык существует как *идиолект* (ср. Grucza 1997: 11). Ещё А. И. Бодуэн де Куртенэ (Baudouin de Courtenay 1922: 3) писал о польском языке следующее (очевидно, что его высказывание может быть без ограничений применено к любому живому языку)²:

У нас есть столько индивидуальных, то есть личных, польских языков, сколько есть голов, вмещающих в себе польское языковое мышление. «Языковые поляки», то есть носители и выразители польского языкового мышления, постоянно рождаются и постоянно умирают, а значит, и состав польского языкового сообщества постоянно меняется. Как во всех прочих сферах жизни – жизни в самом широком смысле этого слова, – так и здесь верно высказывание Гераклита Πάντα ῥεῖ (всё течёт, всё находится в постоянном движении) (перевод с польского мой. – М. К.).

Подобным образом язык как индивидуальное свойство человеческого мышления, а следовательно, как индивидуальный язык, понимал С. Шобер (ср. Szober 1913: 4).

² «Mamy tyle języków polskich indywidualnych, czyli jednostkowych, ile jest głów, mieszczących w sobie polskie myślenie językowe. Polacy językowi, t.j. nosiciele i uzewnętrzniające polskiego myślenia językowego, ciągle się rodzą i ciągle giną. Więc też skład społeczności czyli zbiorowiska językowego polskiego ciągle się zmienia. Jak we wszystkich innych dziedzinach życia, życia w najrozciąglejszym znaczeniu tego słowa, tak i tu stosuje się powiedzenie Heraklita: Πάντα ῥεῖ (wszystko płynie, wszystko jest w bezustannym ruchu)».

Однако идиолектный, индивидуальный характер языка, его привязанность к языковой компетенции отдельно взятого носителя по определению выводит его за рамки социально обусловленного феномена, локализуемого, согласно классическому структурализму Фердинанда де Соссюра (Saussure 1916), не в мозгу носителя, а на некоторой «нейтральной» территории, расположенной одновременно внутри и вне индивидуума, в некоем общем знаковом пространстве, являющемся достоянием сообщества говорящих на данном языке. Фиксация понимаемого так языка возможна благодаря дихотомии, которую Соссюр определял как оппозицию *langue* и *parole* (то есть языка как абстрактной системы знаков и как её реализации в процессе общения). Иными словами, можно говорить о языке как системе знаков, расположенной в пространстве социума, каждый из членов которого в той или иной степени владеет данной системой. Однако данная дихотомия (кстати, единственная из дихотомий, предлагаемых Соссюром) получает в его модели общий интеграл, который он называет *langage*. Это понятие переводится лингвистами по-разному. Так, А. А. Холодович предлагает понимать его как «речевую деятельность» (ср. Холодович 1977: 18), в то время как большинство других языковедов говорят здесь скорее о «языковой способности». По-видимому, соссюрская *langage* в значительной степени согласуется с *competence* Хомского, являясь модулем, претворяющим языковую систему в речь. Данный модуль в силу необходимости должен носить индивидуальный характер, но быть общим для всех носителей одного языка, чтобы обеспечить простое понимание между ними. Определение языка как идиолекта является поэтому правильным, но недостаточным. Понятно, что язык объективируется через общение между его носителями, в результате чего создаются тексты на данном языке, понимаемые хотя бы на самом поверхностном уровне всеми носителями данного языка. При этом, согласно гениальному определению Вильгельма фон Гумбольдта (ср. Humboldt 1903–1936 (5): 9, Trabant 2003: 27), мир естественного языка, используемого народом, на нём говорящим, объективен по сравнению с миром индивидуума, поскольку присущ множеству индивидуумов, и в то же самое время субъективен по сравнению с миром языка предыдущих и последующих поколений (то есть в историческом плане) и по сравнению с совокупностью «языковых миров» современной ему эпохи (то есть в плане географическом). Иными словами, язык данного народа понимается Гумбольдтом как форма его (народа) субъективного мировосприятия (*Weltansicht*), объединяющего всех носителей этого языка и отличающего их от носителей прочих языков. Язык народов Гумбольдт называет «внешним выражением их духа» (*äußerliche Erscheinung ihres Geistes*) (Humboldt 1836/1949: 41). Важно при этом, что никакой другой формы субъективации мира для целого народа, кроме языка, согласно Гумбольдту, не существует, в силу чего язык является единственным носителем народного духа (*Volksgeist*): «Их [народов. – М. К.] язык – это их дух, а их дух – их язык, оба нельзя представлять себе иначе как совершенно идентичными друг другу»³. Поскольку язык содержит вполне определённые, эмпирически устанавливаемые, «измеримые» материальные формы своего существования, народный дух в таком его восприятии теряет свою эфемерность и получает вполне научное осмысление. К сожалению, попытки интерпретации учения Гумбольдта о языке, как апологетического, так и критического свойства, зачастую игнорируют данный аспект, в силу чего Гумбольдт до сего дня многими воспринимается как романтик и «певец народного духа», тогда как он выступает здесь, независимо от специфической для своего времени терминологии, как строгий учёный. Субъективен в его системе именно мир, точнее, его осмысление народом через язык, объективен – сам язык как система форм, выражающих мирозерцание народа. С другой стороны, «оязыковлённый мир» (*die versprachlichte Welt*) принадлежит народу, говорящему на данном языке, как феномен, объективируемый посредством языка, объединяющего множество индивидуумов, каждый из которых имеет свою субъективную картину мира.

³ «Ihre Sprache ist ihr Geist und ihr Geist ist ihre Sprache, man kann sich beide nicht identisch genug denken».

Таким образом, применяя центральные положения теории языка Гумбольдта к современной антропоцентрической концепции языка как идиолекта, а с другой стороны, к теориям сосюрковского и постсосюрковского структурализма, мы получаем следующую картину. Язык как «лингвомодуль», локализованный в мозге его отдельного носителя, через речевую деятельность, направленную вовне и осуществляемую посредством речевого аппарата (в активных фазах) и воспринимаемую извне, т. е. от других носителей, посредством слухового восприятия (в пассивных фазах), является *универсальным для данного языкового сообщества кодом объективного мировосприятия индивидуума и субъективного мировосприятия языкового сообщества*. То есть индивидуум «объективирует» свою собственную картину мира через её постоянное соотнесение с картинами мира иных индивидуумов в процессе коммуникации, в результате чего вырабатывается и фиксируется в текстах определённый «семиотический интеграл», а, с другой стороны, поскольку таких интегралов (языков) имеется множество, каждый из них представляет собой субъективный код мировосприятия данного языкового сообщества (народа).

Такой подход к языку требует его фиксации, локализации в определённом виртуальном пространстве, находящемся одновременно внутри говорящих и вне их. Соссюр и его последователи в качестве решения предлагают социологически обусловленную модель, в которой пространство языка как системы знаков отчуждается от говорящих и размещается исключительно на некоем межличностном, абстрактно-системном уровне. Якоб Гримм и Август Шлейхер проводят ещё более радикальное отчуждение языка от его носителей, определяя язык как независимый от говорящих организм, подобный живым организмам и изучаемый в отрыве от человека. Шлейхер (ср. Schleicher 1863: 6–7) говорит о языках как естественных организмах, возникающих независимо от воли человека, растущих и развивающихся согласно их собственным законам, а затем, согласно законам природы, стареющих и умирающих. Языкознание он называет *глоттохронологией* и определяет его как естественную науку, подобную эволюционной биологии Дарвина. Критики такого подхода, во многом сохранившегося вплоть до начала XX в., говорят о неправомерном переносе теории эволюции с живых организмов на явление, кардинально от них отличное и являющееся именно продуктом человеческой деятельности, — язык как знаковую систему. Впоследствии мы вернёмся к данному вопросу, но уже сейчас хотелось бы обратить внимание на явный парадокс: казалось бы, методологически абсолютно неверное определение языка приводит к установлению целого ряда закономерностей его развития, которые в большинстве своём справедливы и сегодня. При этом весьма сомнительно, что иной подход дал бы столь выдающиеся результаты, начиная от установления родства языков и кончая открытиями в сфере их онтологии, генеалогии, а позднее и типологии. Собственно, именно этому подходу лингвистика обязана своим вычлениением из других областей знания и становлением в качестве самостоятельной научной дисциплины.

Вместе с тем и классическая концепция языка Гримма – Шлейхера, выдвинувшая, между прочим, на первый (строго говоря, единственный) план его историко-генеалогическое рассмотрение, и структуралистские течения, восходящие к Соссюру и его последователям, поменявшие перспективу с исторической на синхронную, оставляют вопрос о локализации языка как организма или как системы знаков открытым. Компромиссное решение предложено было Хомским (ср. Chomsky 1965: 3), который вводит понятие «идеального носителя родного языка» (*ideal native speaker-listener*)⁴:

Лингвистическая теория предполагает идеального говорящего-слушающего в абсолютно однородном языковом сообществе, который в

⁴ «Linguistic theory is concerned with an ideal speaker-listener in a completely homogeneous speech community, who knows its language perfectly and is unaffected by such grammatically irrelevant conditions as memory limitations, distractions, shifts of attention and interest, and errors (random or characteristic) in applying his knowledge of the language in actual performance».

совершенстве владеет языком и не зависит от таких несущественных с точки зрения грамматики условий, как ограничения в объёме памяти, рассеянность внимания и концентрации и ошибки (случайные или характерные) при использовании своих языковых знаний в актуальном языковом общении (перевод с английского мой. – М. К.).

Это, безусловно, абстрактная и виртуальная величина, как, например, идеальный газ в химии. В реальности никакого идеального носителя языка быть не может, но в теории подобные конструкторы необходимы для того, чтобы, описывая их, можно было приписать им некие общие качества, объединяющие «неидеальные», реальные объекты, отсекая всё «вторичное», индивидуально обусловленное. Так, идеальный газ обладает всеми структурными свойствами каждого реального газа, за исключением тех, что отличают реальные газы друг от друга. Характерно, что Хомский вполне обоснованно говорит не об идеальном *языке*, но об идеальном *носителе* реального, конкретного языка, помещая, таким образом, конкретный язык в некий абстрактный, идеально устроенный и лишённый возможностей перформативных (системно-языковых) ошибок и отклонений человеческий мозг. Такая локализация языка отвечает как идиолектальному (антропологическому), так и системно-социологическому подходу. Но, самое главное, она не противоречит органическому рассмотрению языка как самостоятельного организма, при этом показывая, где именно такой язык может быть локализован и как именно он может быть зафиксирован. Тем самым преодолевается разрыв между языком и его носителями, с одной стороны, и устраняется зависимость языка от конкретных носителей – с другой. Чего данное понятие, однако, не включает – это историко-генеалогического измерения, то есть естественной истории естественных языков. Иначе пришлось бы допустить, что идеальный носитель языка рождается с возникновением языка и живёт вплоть до его смерти. В реальности происходит смена поколений носителей языка, с которой меняется и сам язык. Можно было бы, конечно, ввести понятие идеального носителя данного синхронного среза языка. Но поскольку языковые изменения происходят с разной скоростью и охватывают разное число сменяющихся поколений, данная конструкция была бы едва ли возможной для теории языка, учитывающей его историческое измерение.

Все названные проблемы вполне тривиальны, если принять во внимание, что человеческий язык, подобно живым организмам, имеет свой онтогенез и свой филогенез, которые в целом ряде аспектов обнаруживают точки пересечения. Действительно, процесс освоения родного языка ребёнком вполне может служить моделью развития языка от его зарождения до нынешнего времени. Преувеличивать значение такого моделирования, как это делает, в частности, Д. Лайтфут (Lightfoot 1991; 1999), впрочем, тоже не следует. Руководствуясь теорией принципов и параметров, являющейся одной из составляющих генеративной лингвистики Хомского в её сравнительно позднем варианте (ср. Chomsky/Lasnik 1993, Chomsky 1995), он предлагает изгнать «музу Клио» из теории языковых изменений, ограничившись исследованием того, как ребёнок, изучающий родной язык, постепенно приобретает навыки речевой деятельности, а допускаемые им ошибки, вытекающие из стремления, в частности, упростить и выровнять по принципу аналогии и экономии сложные маркированные языковые формы, рассматривать в плане сценария оптимизации языка в ходе его развития. Обращая результаты таких наблюдений в прошлое, Лайтфут считает возможным объяснить и те изменения, которые в языке уже произошли, – именно как превращение ошибок сегодняшнего дня в нормы дня завтрашнего.

В действительности соотношение онто- и филогенеза в языке отнюдь не столь линейно и однозначно, хотя отрицать его было бы неверно. Ниже будут показаны области пересечения обеих форм языкового генезиса на конкретных примерах. Здесь же ограничимся пока фиксацией того, что язык как объект научного интереса обнаруживает явные признаки естественных, органических объектов (как онто- так и филогенез), в силу чего его инструментализация

и рассмотрение в качестве сотворённого людьми средства общения вряд ли оправданы. Дело в том, что, как справедливо подчёркивает Элизабет Лайсс (ср. Leiss 1998: 204–205), инструменталистский подход к языку является одним из главных препятствий для его адекватного, в том числе исторически ориентированного описания, поскольку инструменты отличаются тем, что нас, как правило, мало интересует история их возникновения и развития. Этим инструменты разнятся от природных явлений и естественных организмов. Язык, безусловно, имеет черты и тех, и других, о чём пойдёт речь в последующих главах. Поэтому его адекватное описание предполагает выработку такой модели, которая будет совмещать в себе методологию исследования природных феноменов и артефактов.

Генеративная лингвистика Хомского в её ранней версии, то есть генеративистика «Синтаксических структур» (ср. Chomsky 1957) и «Аспектов теории синтаксиса» (ср. Chomsky 1965), проводит в структуре языка резкую, принципиальную границу между «словарём» как приобретённым, обусловленным рядом внеязыковых факторов языковым знанием *a posteriori*, и собственно лингвистическим, внутренним, прирождённым знанием *a priori*, существующим у каждого человека в виде логической мыслительной структуры, связывающей именную и глагольную фразы без их конкретного лексического наполнения, что составляет основу синтаксиса и вообще любого типа грамматической категоризации. Именно благодаря второй, априорной, грамматической компоненте лингвистического знания, обуславливающей языковую компетенцию, каждый человек в состоянии выучить по крайней мере один язык. Таким образом, структурно язык, локализуемый в виртуальном мозге виртуального «идеального говорящего» и являющийся именно в этом его виде объектом лингвистической теории, состоит из переменной величины – словаря (лексикона) и постоянной величины – логического синтаксического модуля, который в самом общем виде выглядит как NP – VP (noun phrase / именная фраза – verbal phrase / глагольная фраза). Посредством расширения и усложнения синтаксического модуля возникают *правила*, согласно которым в каждом конкретном языке слова соединяются во фразы, и ограниченный (хотя и весьма большой) набор слов служит основой для порождения гипотетически практически неограниченного числа предложений. *Правилами* называются при этом исключительно системно обусловленные законы порождения фраз, а не правила в значении принятых норм, обусловленных социально и подверженных произвольно вводимым извне изменениям. Укрытые синтаксические модули именуются «глубинными структурами» (depth structures), реализуемыми посредством создания «поверхностных структур» (surface structures), то есть реальных (озвученных) фраз. При этом установить форму глубинной структуры невозможно иначе, как возводя к ней структуру поверхностную, «сокращённую» благодаря логическим процедурам до логической схемы. Объектом лингвистической теории Хомский и его последователи объявили именно поиск глубинных структур, стоящих за структурами поверхностными, как гены стоят за белыми и жёлтыми цветками или молекулярная формула H₂O – за водой. Однако в отличие от генетики или химии экспериментально зарегистрировать глубинную структуру языка невозможно, вследствие чего приходится довольствоваться материалом поверхностных структур, чтобы вывести из них лежащие в их основе синтаксические схемы логического порядка. Все прочие аспекты, которые рассматривались в языковедении до Хомского, включая теорию номинации и вообще вопросы, относящиеся к значению языковых знаков, генеративная теория объявляет «донаучными» (pre-theoretical), поскольку объектом научного знания, получаемого путём построения теории, основанной на научной гипотезе и её эмпирическом доказательстве, по мысли Хомского и его последователей, могут быть исключительно феномены, осмысляемые с точки зрения законов, родственных законам естественных наук или законам логических построений. Дескриптивная (описательная) сторона лингвистики не может, согласно теории генеративной грамматики, быть самостоятельным объектом научного исследования и выполняет поэтому лишь вспомогательную задачу

при построении лингвистической теории, целью которой, как целью всякой теории вообще, является не *описание* феномена, но его *объяснение*.

Ниже будет показано, что такой подход, несмотря на верность постановки общей задачи теории языкознания, неправомерно сужает сферу применения теоретических постулатов до логически устанавливаемых «порождающих схем». Простым доказательством неоправданности такого теоретического редукционизма является, в частности, наличие скрытых, подобно глубинным синтаксическим структурам, механизмов категоризации и правил номинации при возникновении и развитии языковых знаков на уровне словаря, в частности правил мотивации, демотивации и ремотивации, а также грамматикализации в результате так называемого реанализа (англ. *re-analysis*) – по своей сути метонимической процедуры, универсальной для всех языков (ср. Lehmann 1985; 2000, Hopper/Traugott 1993, Heine 1993, Heine/Kuteva 2002, Bybee 1985, Diewald 1997 и др.). Характерно, что эти механизмы в отличие от логических порождающих правил синтаксиса выходят за рамки синхронического исследования языка, и их установление возможно исключительно в исторической (диахронической) перспективе. К сожалению, для постсоссюровской структуралистически ориентированной лингвистики сама постановка вопроса о том, что хотя бы какая-то часть языка не поддаётся теоретическому осмыслению исключительно на синхронном уровне, является почти «еретической» в отношении существующей «синхронической догмы». Исторический аспект языка, согласно этому представлению, является объектом самостоятельного изучения, которое методологически и теоретически не пересекается с исследованием языка как системы знаков на данном «синхронном срезе». В «Курсе общей лингвистики», изданном учениками де Соссюра Балли и Сешэ на основе прослушанных ими лекций учёного в Женевском университете, когда самого Соссюра уже не было в живых, имеется очень короткая, но весьма характерная глава под названием «Возможна ли панхроническая точка зрения?», где поставленный в её заголовке вопрос получает однозначно отрицательный ответ. Невозможно, согласно этой логике, никакое совмещение синхронического и диахронического метода при изучении конкретных языковых феноменов, каждый из которых может исследоваться только *либо* синхронически, *либо* диахронически. Никакого интегрального решения данная дихотомия не предусматривает в отличие от описанной выше дихотомии языка (*langue*) и речи (*parole*), интегрированных в понятие языковой способности (*langage*).

Аргументированной и всесторонней критике данная дихотомия, вернее, её абсолютизация, подверглась в замечательном труде румынского языковеда Эугениу Косериу «Синхрония, диахрония и история» (ср. Coseriu 1958), где вводится категориальный (понятийный) интеграл, вполне соотносимый с *langage* в рассмотренной выше дихотомии иного уровня. Этим интегралом является понятие «история», которое в применении к языку совершенно справедливо считается центральным. История для языка, согласно Косериу, представляет собой интегральную, сущностную его характеристику. Язык – прежде всего исторический феномен, причём исторический фактор его бытования присущ как синхроническому, так и диахроническому измерению лингвистики. Это можно сравнить с человеческим организмом, изучаемым медиками и физиологами, каждый этап жизни которого является результатом прожитого до этого этапа времени. «Синхронное» состояние организма человека необходимо соотнести с этиологией, так как без этого оценить его в полной мере невозможно. Одновременно такая оценка позволяет не только верно поставить диагноз, но и с большей или меньшей степенью вероятности прогнозировать будущее развитие. Косериу определяет человеческий язык как накапливаемое индивидуумами и языковым сообществом в целом *знание*. При этом средством накопления лингвистического знания является коммуникация на данном языке. Фактор времени определяет историчность языка безотносительно к причинам тех или иных конкретных изменений, которые происходят в его звуковом составе, словоформах, лексических значениях и грамматических функциях языковых единиц и синтаксических конструкций, порядке слов в

предложении и т. д. Время, в котором живёт язык, вернее, в котором живут, сменяя друг друга, поколения его носителей, является абсолютным фактором, обуславливающим его динамику и делающим неотвратимыми языковые изменения.

Приведём здесь несколько грубое и не вполне точное, но весьма иллюстративное сравнение. Смерть каждого конкретного человека вызвана теми или иными причинами, но даже если представить себе, что все причины естественной смерти, то есть все те заболевания, от которых умирают люди, будут когда-то устранены благодаря прогрессу в медицине, это не будет означать, что устранённым окажется сам феномен смерти как таковой. Учёные-физиологи и генетики говорят в этом случае о том, что, когда человек не будет больше умирать от болезней, он будет «умирать от смерти». Известны эксперименты, проводившиеся на мышах, которые были поделены на экспериментальную и контрольную группы. Контрольная группа жила без генно-инженерного вмешательства и поражалась обычными свойственными мышам болезнями, от которых каждая отдельная особь раньше или позже умирала. Вторая группа получала инъекции препаратов, максимально, в пределах практически до нуля, сокращавшие факторы риска любых заболеваний, в том числе генетически обусловленное старение организма. Мыши этой группы были несравненно активнее своих сверстников из контрольной группы, причём активность эта сохранялась в течение всей их жизни, которая, однако, хоть и длилась несколько дольше и не была отягощена болезнями и немощами, обусловленными старением, рано или поздно прекращалась. Можно сказать, что, несмотря на преклонный мышинный возраст, они умирали во цвете лет. Но – умирали. Бессмертие невозможно, пока присутствует фактор времени. Невозможна и неизменность: рождение, рост и умирание являются общей судьбой всего живого, что подвластно времени. Не всегда так быстро и заметно, но меняется также и неживая материя. Можно сказать поэтому, что изменчивость является абсолютным и непреложным маркером категории времени. Приведённый во Введении пример с вымышленным *инсийским* языком говорит о том же, только в отношении интересующего нас предмета – естественного человеческого языка.

Вернёмся теперь к вопросу о том, как лучше представлять себе язык – в качестве независимой от конкретных носителей автономной саморазвивающейся системы или в качестве привязанных к сменяющимся поколениям «идеальных носителей» мозговых файлов, содержащих весь объём лингвистической информации, передающейся *mutatis mutandis* от поколения к поколению. Если подходить к языку как к историческому феномену, оказывается, что это, в общем, безразлично. Важнейшим являются здесь два фактора: фактор развития, по необходимости включающий изменение, и фактор автономности, обуславливающий размещение исследуемого феномена в некоем «идеальном», а следовательно, меж- или надындивидуальном пространстве. Русский язык, например, является не языком какого-то конкретного его носителя, но языком живущего в наше время абстрактного индивидуума, владеющего им в полном объёме и получившего его в наследство от своих, столь же виртуальных, как он сам, предков. Такое представление о русском (как, естественно, и любом другом) языке не исключает, а, напротив, подразумевает его отождествление с автономной саморазвивающейся системой, то есть антропоцентрический подход к языку (при условии его перевода в необходимую для построения адекватной теории абстрактную плоскость) вполне конгениален подходу органическому.

Здесь, конечно, возникает большое число возражений, которые критики представленной выше концепции языка обычно считают достаточными для объявления её несостоятельной. Дело в том, что в действительности мы имеем дело с продуктами речевой деятельности (текстами большего или меньшего объёма), устными или письменными, которые привязаны к вполне конкретным авторам, являющимся носителями языка. Во второй половине XX в. в рамках появившейся тогда лингвистики текста как новой отрасли языкознания прозвучал призыв к «онтологизации» языкознания как науки *a posteriori*, единственным реальным предметом которой являются именно тексты как материальная форма реализованной речи (ср. Hartmann

1971: 15). В действительности, вместо «онтологизации», теория языка достигла здесь, при всех несомненных заслугах лингвистики текста, высочайшего уровня «деонтологизации» объекта исследования, поскольку любой текст является лишь продуктом реализованной языковой способности его эмитента и зависит от целого ряда факторов, не имеющих ни малейшего отношения к свойствам языка. Онтологическая «вторичность» конкретных текстов, в общем, не требует дополнительных объяснений. Вместе с тем понятно, что любая возможность хотя бы иллюзорной эмпирической фиксации объекта исследования для учёного оказывается зачастую приоритетной задачей. Определение языка как *совокупности существующих на нём текстов* имеет поэтому целый ряд преимуществ, выводя предмет языковедческого анализа из сферы спекулятивной теории в область эмпирически несомненных объектов. При этом формально отсутствуют препятствия для рассмотрения языка в качестве исторического феномена, правда, при условии наличия текстов, составленных в разные эпохи его развития.

Тем не менее «текстовый» подход к языку в смысле онтологизации естественного языка через тексты как материальное воплощение языкового кода приводит в конечном итоге к отказу от теории языка в том смысле, в котором мы вообще понимаем теорию любого явления, то есть начисто лишает язык (как совокупность текстов) того уровня абстракции, при котором возможно построение какой бы то ни было теории. Чтобы лингвистика могла претендовать на статус науки, необходимо, чтобы она имела не только «описательную», но прежде всего «объяснительную адекватность» (Хомский). Если мы не в состоянии предложить объяснения причин и механизмов бытования того или иного феномена и заведомо, на стадии определения данного феномена, ограничиваем возможность его изучения простым описанием и (или) классификацией его составных частей, мы *polens volens* находимся на донаучной стадии его исследования. Безусловно, можно и на этой стадии провести весьма внушительную по объёму привлекаемого материала подготовительную работу, однако подлинные вопросы теории и после этой работы будут ждать своего решения.

Конечно, можно было бы преодолеть возникающую лакуну между конкретно и абстрактно понимаемым языком, занимаясь изучением не «языка вообще», а языка конкретных его носителей, воплощаемого в конкретных текстах, доведя их число до некоего критического порога, за которым можно было бы построить теорию языка на основе полученной «равнодействующей» индивидуальных языков. Подобный подход вполне реализуем, учитывая современные возможности информатики, позволяющие охватить миллиарды примеров из миллионов текстов, затем аннотировать полученный корпус соответствующим образом, после чего, применяя статистические методы анализа, предложить более или менее достоверную теорию каждого из изучаемых сегментов такого усреднённого языка. С другой стороны, используя методы экспериментальной нейролингвистики, можно изучить большое число носителей языка с точки зрения процессов, происходящих в головном мозге при порождении и (или) восприятии множества различных фраз, соотнося при этом информацию, получаемую на «входе», с регистрируемыми на «выходе» данными. Всё это действительно широко применяется в современной лингвистике, всё больше приобретающей междисциплинарный характер.

Вопрос, однако, состоит в том, какого рода теория может возникнуть в результате подобных подходов, даже если вообразить, что на определённом этапе исследований можно будет их каким-либо способом синтезировать и привести к некоему общему знаменателю. Первое, что сразу же бросается в глаза, — это невозможность получения таким образом адекватных результатов, касающихся языковых изменений, по крайней мере, в филогенезе. Онтогенез изучить здесь, правда, вполне реально, при условии непрерывного наблюдения за текстами, порождаемыми испытуемыми индивидами, в процессе приобретения и развития ими языковых знаний, то есть от первых слов и фраз до достаточно полного овладения языком. Источником же знаний о филогенезе могут служить исключительно тексты, созданные в разные исторические эпохи, однако в силу того, что древнейшие тексты, написанные на большинстве языков, сохранились

лишь в незначительных фрагментах, сопоставить их с тем, что нам известно о современном состоянии языков, можно лишь в очень скромных объёмах. Конечно, здесь можно было бы воспользоваться уже упомянутым выше крайне редуccionистским, хотя и по сути своей в известной степени приемлемым, тезисом Лайтфута о механическом переносе онтогенеза на филогенез и отказе от привлечения «музы Клио» для изучения причин и механизмов происходящих в языке изменений. Но одно дело проводить вполне оправданные параллели между индивидуальным и «видовым» развитием, и совсем другое вообще отказаться от второго в пользу первого как целиком его замещающего. Подобные редукции в теории всегда ведут к существенной рассогласованности в выводах и крайне неточным результатам, поскольку степень пересечения онтогенеза и филогенеза никогда не может считаться удовлетворительной для построения сколько-нибудь достоверной теории.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.